

ЗАБЫТАЯ ЗИМА

Сегодня семнадцатое декабря. В народе день этот кличут Варвара Зимняя, Заваруха. Но с самого утра погоды стоят ясные, мягкие, солнце лупасит вовсю, минус три, не больше. И не понять, зима ли на дворе, поздняя осень ли? Смешались в наших срединных землях времена года, настоящей русской зимы с трескучими морозами, с сугробами выше крыш, почитай, уже с десяток годов не доаукаешься, днём с огнём не сыщешь.

Правда, припомнилось: несколько лет назад, совершенно неожиданно-негаданно, уже через неделю после Покрова, не дотерпев, когда “Варвара станет мосты мостить, Савва гвозди острить, а Никола прибивать”, шибанули такие бесснежные холода, что за одну-единую ночушку вся округа обмерла в оцепенении.

Скажешь слово, а оно блямс серебристой ледышкой оземь, и вдрызг, и на сотню мельчайших осколочков. Хлопнешь в ладоши, топнешь валенком — ахнут скованные небывалой стынью, перемерзлые до самых сердцевин дерева — и хрясть стволы надвое.

Как под Покров припудрило чернотроп мало-малешки, всего ничего, на вершок, так вот уж и декабрь покатыл, а ни тебе порошины, ни самой хлипенькой метелицы. И дни всё каляней и каляней. В сенцах, чего никогда не бывало, даже разорвало льдом ведёрки с ключевой водой. А градусник, чокнувшись, — дивись не дивись — к заре стал выдавать позабытые в наших краях температуры.

В трубу упала почти закоченелая птица. Видать, гнездилась бедняжка поближе к тёплушке, гнездилась, пристраиваясь на краешке, и обмерла, не дождавшись, когда повалит в безветренную стынь колечки берёзового дыма, бухнулась прямо во вчерашнюю золу. Её смазали гусиным салом, завернули в ветошку — побитую “шашалом” пуховую шаль, — посадили в картонную коробку, а чтоб птичке легче дышалось, прорезали дырочку. Обустроили, значит, бедолаге жильё и задвинули этот птичий домик в не простывшую с вечера печурку, вынув из неё целый ворох тёплых суконных носков и вязёнок.

Тревожнее всего крестьянскому сердцу было видеть почти неприкрытые, голые поля. С осени они так радовали глаз своей густотой и мощью, а теперь никто не ведал, чем обернётся хлебам это лютое, морозное бесснежье. Выдоят ли, очнутя ли зеленыя, когда вдарит свою песнь в апрельском поднебесье залиvistый жаворонок?

А тут вот ещё беда — не дотянув и до Николы, не то что до травки, как ей в то верилось, померла бабка Кирзачиха. Измаявшись “копальщики”, возвращаясь с погоста и перекуривая с отцом на бревне у наших ворот, серчали на старую: мол, и угораздило ж ей преставиться в эдакую жуткую холодрыгу? И костры-то они палили, и баллоны жгли, сколько солярки извели! — ну, тебе ни в зуб ногой — земь промёрзла, почитай, на аршин с гаком.

Слава Богу, стояло полнейшее безветрие! Иначе бы и вовсе не было спасения — воздух настолько жгуч, словно в знаменитый на весь хутор хренодёр деда Свистуна подбавили перестоявшегося сливового укуса помёршей бабки Кирзачихи — вот какой лихой обжился в полях и на мужицких подворьях воздух.

Ребятишки хворали вповалку, и учителька, объявив карантин, водрузила амбарный замок на двери начальной школы. Правда, возвращаясь из селпо, ужаснулась: “И куда только родители смотрят?” Мишкина гора кишмя кишела малкосней, приползали её, чуть припорошённую, дочерна. “Вот и жалей их после этого!” — серчала на детвору и их “безответственных” домашних Мариванна.

А ведь ей ли не знать, не ведать ребячьей природы? Никаким самым страшным морозом не удержать их сейчас дома. Ну, разве что привязать вожжами к печке?

И промёрзлое солнце льётся красно, ему тоже нипочём, щёки — что перзрелые помидорины. Укатается, исползает вместе с детворой холмы да пригорки и уронится до завтра отсыпаться в ржаные скирды Гавриловского поля. А на его место объявится да тоже да-а-вай перекатываться с пригорка на пригорок, с горушки на горушку луна, белая-пребелая, слегка ущербная, будто надкусанный нашим шкодным котом Кис Кисычем кружок замороженного топлёного смальца.

На Кроме заковало напрочь все оmutки, даже от проточной польньи под Облогой след простыл. Ни гусям-уткам почебурахаться, ни бельё располоскасть, ни рыбки зацепить. Обустривая проруби и купальни для птицы, лёд выпиливали огромными крыгами, растаскивали их на санях подальше в стороны. Мальчишкам только на руку — готовые ледяные крепости.

Заглянешь в сарай — от коровьего стойла пар валит. Лыска жуёт и жуёт беспрестанно, греется. Воронок тоже жуёт, и овцы жуют. Набитый сеном ещё с июля под самый завяз огромный амбар уже наполовину пуст, подьелся за бакшой и стожок гречишной соломы. Как не положить скоту в ясли корма, под бока соломки? Жалко, холода-то стоят лютые. Растянуть бы запасы до Стретенья, а там, глядишь, и до подножного корма рукой падать.

Правда, чердаки сараев и амбаров ещё полны душистого сена. В нём, если откинуть верхнюю шапку, слоями уложены с осени яблоки. На банном чердаке — крупнющие, с мужицкий кулак, штрифеля, а в старом омшанике — пенины да антоновки. Промороженные, сладкие да сочные, они хоть для ребятшек, хоть для взрослых — одно объеденье.

Даже в такую знойкую, неласковую пору природа великолепна. Стояли алье, опушённые искрящимся инеем дни, короткие, с мышиный хвостик. Все истосковались по снегу, по чистому раздолью, по санному скрипу, по упрямым красногрудым птицам снегирям, которые никак не желали прилетать по бесснежью.

Вот так же в засуху, бывало, томится-томится мужичок по раскапризневшему дождю, уж и терпение-то у него лопнет, и нос-то он повесит, вовсе закручинится, а тут вдруг неожиданно-негаданно, невесть откуда набегут, налетят, раскучерявятся облака, и шуманёт такой ливень, что уняться сможет лишь через пару дней.

Так получилось и со снегом. Уж и жданки все переели, решили было, вовсе снег не объявится. А что? Может, взял да просыпался махом весь до последней крупиночки где-нибудь за тридевять земель, в сибирской Сибири?

Но однажды к полудню серыми штапельными доскутами вдруг стало застилаться небо, мороз унал, почти его не ощущалось. Воздухи стали мягкие, даже чуть влажные. Дохнуло юго-западным ветром, и из Сизого овражка ползла выпирать, пучиться, разрастаться, пока не заволокла полнеба, огромная снеговая туча. Когда же эта застиранная тряпка накрыла собой все небеса от края и до края, ветер, подгонявший её, выполнив своё дело, обмяк, а потом и вовсе сник.

Зато для снега уже не было удержу. За каких-то три часа сровнял все ухабины и шершавины. Ниспадал отвесной стеной и еле слышно шуршал, будто пересыпали из ладони в ладонь сухой речной песок.

А потом и вовсе пошла такая заваруха! В крошечной тишине на хутор с его притихшими избами и подворьями, на высеребренную тополиной листовкой околицу, на раздетые донага леса и роци, на ровню остриженный бобр-рик опустелых полей повалили тяжеленные кипенно-белые хлопья. И, полетчав, грязная туча становилась всё чище, всё светлее.

Есть что-то заманивающее и завораживающее в таком густом снегопаде. Поддевшись, я вышла на косогор, отсюда, с его верхотурья, открывалась вся приречная долина, хуторские пожни, боры и перелески. Зачарованная, всматривалась я сквозь эту шёлковую шуршащую снежную занавесь в едва проглядывавшие заречные дали. Небеса разверзлись, и снега шли и шли потоками на согнувшиеся под грузными шапками низинные тальники, на потонувший в белизне хутор.

Из-за снегопада сумерки затягивались. Казалось, само время просыпалось сквозь прорешетившиеся небеса, и не было никакой возможности его остановить или хотя бы нащупать грань перехода сумерек в долгий, теперь уже по-настоящему зимний вечер.

Но, когда то тут, то там сквозь молочную пелену замаячили огоньки хуторских хат, и от окошек бледно-жёлтые пятна упали на запорошенные палисадники, округа провалилась, ухнула в крошечную темь.

Весь вечер напролёт, сидя за чаем, а потом завернувшись в старую белокрайку, читая у полыхающей печки, слушала я, как кто-то шустрый и неутомонный хозяйствовал, шебаршился на подворье: шуршал, пересыпая то соль, то сахар из мешка в мешок. Подумалось: “Авось, за ночь уляжется! То-то отраднo будет пройтись по первопутку!” Уснула, будто в сугроб провалилась.

Очнулась, когда отец поутру загремел у печки охалкой поленьев. Захотелось посмотреть, что случилось с подворьем, после того как похозяйствовала на нём зима, выбивая и перетряхивая половину вчерашнего дня и всю прошедшую ночь свои пуховые перины и подушки.

Снегопада как не бывало. Лишь изредка спланирует на лицо и тут же испарится какая-нибудь припозднившаяся снежинка да шмякнутся с выпрямившейся кленовой ветки не удержавшиеся рыхлые комья. Хоть градусник стойко держался на пятнадцати, мороза не чувствовалось.

Атласный воздух ласков и мягок. И такая тишина, что даже скрипом валенок жалко её нарушать. И топтать эти на совесть сработанные, выбеленные

холсты тоже не хотелось. Но по первопутку уже проторились тонносенские стёжки: от крыльца до сараюшек и амбаров, к Тузиковой конуре, к поленище, до ворот.

Проснувшийся ещё до свету хутор скрипел молодыми снегами, протяжно мычал и залиристо лаял, коготал и курекал на все лады. Дотапливались печи, хлопали калитки и воротины, то тут, то там по соседству слышались здоровканья.

Тонко пели полозья саней, пробиравшихся вдоль занесённого просёлка, где-то вдалеке в голубой темени, прокашливаясь и чихая, уже тарарахтал трактор. Над Поповкой, за церквою, тонкой ситцевой тесёмочкой обозначилась заря.

И пока я, обивая снега, топотала на крыльце валенками, скоргыкала по ним бурьянным веником, пока, скинув отцовский собачий полушубок, чебурачалась у рукомойника, перемёрзлой калиновой ягодкой раннее декабрьское солнце уже покатило по чистому раздолью хуторских полей.

Сквозь запотевшее кухонное окошко, смотревшее на восток, закружилась, просыпалась перламутровая пыль. Радостней и задорней разгулялось, загудело в не прикрытой заслонкой печи. Высветляясь, стала всё чётче проявляться житейская утварь: большой выскобленный стол, на нём, посередке, накрытый клетчатой тряпичной кубан, престарелый резной буфет со стопками тарелок и мисок, с графином смородиновки, с ещё бабушкиной, выщербленной по самому краешку глиняной солонкой.

Наконец, когда в самом тёмном углу проступила липовая книжная этажерка с выбитым ригелью на крепко накрахмаленных ситцевых салфетках, сквозь дырчатые тюлевые занавески в комнату хлынуло звонкое, солнечное и нестерпимо яркое декабрьское утро.

Отрада, нега и уют переполняли сердце, но в то же время ликующая, первозданная гладь за порогом манила, будоражила, не позволяла усидеть на месте.

Распахнулась форточка, дохнуло морозной свежестью.

— А не пробить ли дорожку к роднику? — под окном, тоже чему-то радуясь, с двумя фанерными лопатами стоял отец.

НЕУВЯДКА

Много имён, на дух не приняв французское название “иммортель”, дал русский народ этому цветку, скромному, как и сама крестьянская судьба: бессмертник, живучка, сушица, наконец, неувядка. А ещё, к примеру, в отличие от южного греческого “солнечное золото”, на неласковых северных просторах окрестили его, соблюдая нашеньские традиции, совсем уж по-своему “мороз-трава”. Иногда из-за нежных бархатистых лепестков его кличут “кошачьи лапки”.

Мне этот незатейливый цветик памятен с самого нежного возраста. Люлька моя в ту пору раскачивалась вдоль крошечной горницы, недалеко от бабулиной божнички. На ней вместо дорогих серебряных окладов на простеньких иконах прижились венчики из неувядающей живучки, красота которой не облетала, не рушилась даже в зимнюю стужу, когда мороз расшивал чудесными серебристо-ледяными листьями и бутонами окошки нашей хаты.

Как же влекли меня, несмышлёную малышку, ярко-алые, оранжевые, лимонные и жёлтые цветики, как хотелось до них дотянуться, поддержать в ручонках это дивное диво! Но строгая бабушка, окропив божничку, а заодно и бессмертники крещенской водой, прозывала их Богородицыными цветиками и не позволяла никому, даже своей любимице внучонке, прикасаться, а не то чтобы отдать их на детскую забаву.

Спустя время обнаружила я, что неувядку почитали не только в нашем доме. И соседи этим неосыпающимся великолепием изукрашивали красный угол, обряжали многочисленные семейные фотокарточки, даже почётные

трамоты, которые, как теперь живописные полотна, в пору моего детства зачастую развешивались по стенам деревенского жилища. Заботные хозяйки выстилали днища своих сундуков этой чудной травой — проверено веками: где она лежала, там моли отродясь не водилось, боится она неувядки ничуть не меньше нафталина. Веками цветок этот не покидал стены крестьянских изб.

Был в наших селениях и ещё один замечательный обычай. Как вставляли в избах к Покрову вторые рамы, так укладывали внутрь, в межрамье, на подоконник яркие подкрашенные цветы бессмертника. По подворью шагает выюга, стынть трещит в деревьях, носу за порог не высунуть, а на окнах наперекор всей лихости — цветочные поляны. Бейся, кусайся, зимища, — не страшна им ни лютость, ни стужа, видать, именно оттого и прозывается у нас цветок этот мороз-травою.

Убранство бессмертником подоконников — дело не удивительное. Ведь в народе нашем испокон веку жила глубокая потребность в обихаживании, украшении быта. Неотступная тяга к красоте породила и кружевной промысел, и алые паруса русских ладей, и замысловатую резьбу наличников, и многоголосую вязь хорových песен.

У нас в палисаде из года в год произрастали (видать, самосевом) крупные, с пятак, “городские” неувядки. Но неизменно, как подступится август месяц, на Пантелеймона, ранней ранью, усадив меня в плетушку, в неё же — “вузлячок” с бутылкой молока да анисовой лепёшкой, бабушка громоздила поклажу на спину и топала с ней за дробеньким бледно-жёлтым простушкой-бессмертником на заповождённый молодым подсосёнником Косорецкий бугор. Крутолюбился он по правую руку от Гороней, аккуратно над поросшим высоченным белоусом пескариным ручьём. Час туда, час обратно.

Бессмертники живут дружным семейством, поодиночке их редко-редко когда встретишь, всё кучкой норовят. Артель их издали заметишь — сотни пышных круглых золотисто-солнечных венчиков на длиннющей бледной мохнатой ножке. Словно выпали из запрятанного в вершине сосны птичьего гнёздышка, просыпались вдруг нечаянно по недогляду какой-нибудь беззаботной славки жёлтенькие, неоперившиеся птенчики.

Как распусятя крошечные соцветия, питаются восковым смоляным духом, так и не гаснут жарким солнышком на фоне борových сизых да малахитовых мхов не день, не недели, не месяцы. Выютя, бегают по ним в радости всякие-разные мураши да блошки.

Бабуля, ведавшая, как мне кажется, всё на свете о целительных травах и кореньях, благоговела перед неувядкой и держала её на особом счету. А как иначе-то? Ведь ещё в дремучей древности русичи наделяли её сверхъестественной силой. Наши пращуры не сомневались в том, что душа умершего переселяется в этот необычайный цветок, чтобы передать близким свой последний поклон.

Иногда на Руси цветок бессмертника называли нечуй-ветер и, искренне веря преданиям, мол, слепым помогает он открывать зачатыеклады; сыскав неувядку (нечуй-ветер), а с ней водосбор, цветущую папоротку да разрыв-траву (без неё-то уж точно дело не сладится!), в ночь на Ивана Купалу устремлялись разгуливать по округе, покуда не появится резь в глазах. А как случится ожидаемое, на великую радость, так не сойди с того места, принимайся копать — клад у тебя полёживает прямо под ногами.

Много увлекательных легенд и историй о бессмертнике бродит по белу свету и по сей день, но для меня остаётся самым дорогим стародавнее сказание, родившееся ещё во времена татаро-монгольского нашествия. Уж и не припомню, от кого узнала и когда оно запало в глубины моей памяти.

Вероятно, бережётся оно в родных местах из-за того, что Кирово-городище наше древнее-преддревнее, аж четвёртый век нашей эры! А чем чёрт не шутит? Вдруг события эти случились с какой-нибудь кировской Авдотьей? Имя-то уж очень частое в Кирово-городище ещё с незапамятных времен. А что татары подступались, и не раз, к одному из сторожевых постов Засечной полосы, Кирову-городищу, так о том кому ж в наших краях не известно?

Так вот. Давно это было, в ту пору, когда на Русь хлынули орды злых воров, когда не просыхала она от горячих слёз вдов и сирот. Попали во полон к Батью вместе с другими воинами у русской женщины Авдотьи любимый муж, единственный сын и кровный брат. Любила она всех троих пуще жизни. И так прикидывала, и эдак, хоть бы одного удалось спасти, вымолить у нечисти, но кого из троих? Маялась-маялась и придумала. Решила: “Замуж выйду — муж будет. Будет муж — сын народится. А брата мне уже нигде не взять”. С этими словами и ударилась она в ноги хану-завоевателю.

Подивился Батый речам мудрой женщины. Сорвал первопопавшийся под руку цветок, не ведая, во что он может превратиться в руках бесстрашной женщины от безмерной любви к близкому, от гнева к поработителю, от печали за судьбы полонённых соплеменников. И говорит лукаво хан Авдотье, мол, милость моя безмерна, вот награда за премудрость твою: иди по моему стану, уводи, пока не завянет этот полевой цветок, без выкупа всех подряд, кого пожелаешь.

Долго ходила по орде Авдотья, а цветок тот заветный не только не угас, не повял, а вопреки Батыевой коварной задумке, с каждой минутой наполнялся великой силой, становился всё краше и краше, пока не стал бессмертным. Так мудрая русская женщина не позволила сгинуть во вражеском плену многим своим собратьям. А цветок тот степной с тех пор нарекли бессмертником.

Может, оттого, что бабуля помнила о травке этой все были и небылицы, набирали мы её всегда корзину под завяз (да к тому ж вдобавок старушка моя, бывало, не преминет для какой-то одной ей ведомой настойки наломать красношляпных мухоморов), и, чтобы не помять добыток, обратно из бора возвращалась я уже своим ходом. Хоть и уставала, придерживаясь за бабулин подол, “просеменив пёхом” версты три с гаком, но зато как же дожидалась я той минутки, когда, маленько передохнув, подстелив тряпичные домотканые кружки, усаживались мы с бабушкой на прикрыльные ступеньки перебраться, повязать бессмертники в пучки-букеты, завить свежие венчики, чтобы приладить их вместо напрочь поблёкших.

Зимой, под Василёв вечер, отбросив мотки пряжи, бабушка вострепелась и тоже отправлялась в сенной амбар, и набирала охапку неувядки, а потом к Рождеству и к Велику дню, подобрав юбки, с оханьем взбиралась она на табуретку, бережно снимала постаревшие, поседевшие со временем (совсем как человек!) цветы бессмертника с божницы и “подновляла на радость заступникам”. А подкрашивала она сухоцветы не чем иным, как теми же самыми красками, которыми выпестряла мотки овечьей пряжи.

Красители испокон веку бабы наши изумдрялись востожить сами. Дело то нехитрое. Залей, к примеру, дубовую кору кипятком, дай настояться. Вот тебе и жёлто-оливковый цвет, поднаберись терпения, выдержи подольше — изготовишь все оттенки, вплоть до глубоко чёрного. Бери да крась хоть нитки, хоть ткани, хоть те же самые сухоцветы.

А то накопают деревенские в лугах корней конского щавеля, подкинут в него винный камень, и жёлтый, что твой одуванчик, получится цвет неувядки. Протрави его железом, так будешь иметь жуковой чёрный. Синего же цвета, знали, можно добиться, поколдовав с девясил-травой.

Но самыми яркими, самыми любимыми красками всегда оставались те, что сделаны были на водной вытяжке зверобоя: хочешь зелёный цвет — получи, хочешь жёлтый — и этот можно из него состряпать, а подкисли отвар, да прокипяти, так и бери крась под Пасху яйца. Будут твои крашенки и бордовые, и алые, и розовые, и красные.

Хоть и нет в неувядке пышной царственности иван-чая, но любят и почитают её у нас, несмотря на скромность, ничуть не менее самых роскошных цветов. У каждого из них есть своя мера жизни, но всё равно невероятно короткая. Цветы, это Божественное чудо, к сожалению, смертны, как и люди. Ну, день, ну, неделя... и поник, и не осталось от него на свете даже малого следочка. Другое дело — неувядка! Именно благодаря своей стойкости и бессмертию так памятен и любим этот цветок.

НА ХУТОРЕ

На днях набрякшая ноябрьская стынь наконец-таки разродилась нестерпимо желанной зимой. Во внезапно обрушившейся тишине на истомлённую хлёсткими сырыми ветрами округу несчётными белыми стаями двое суток без передыху с поднебесья слетались и слетались птицы-снеги. На поля с их погасшими золотистыми скирдами, на расхристанные просёлки, на их бурьянные обочины с неохватными, словно пропеллеры вертолётов, зонтиками борщевиков, на полусонные хуторские подворья.

И всё уже, было, настроилось на покой и отдохновение, но сегодня к полудню, откуда ни возмись, объявилось не по-зимнему ярое солнце. Выпорхнуло из-за дубравы алой-преалой жар-птицей — гребень золотистый набекрень — и, видать, испугавшись этой невидали, в считанные часы куда-то попрятались молодые снеги: укрылись до поры до времени в глухих оврагах да яминах, залегли под тесовыми заборами да полынными кусточками.

К вечеру же, когда солнышко, нагулявшись, спровадилось почивать в ракитники Малашина омутка, округа ухнула, провалилась в густящие туманы. Но совсем ненадолго. Глядь, ещё до первой звезды прищипнул морозец. Сначала легонько, но потом засмелел, а уже ближе к полуночи, в полной темноте, вовсе расфорсился.

Утром глазам своим не поверила — и тончайшие, свисающие вземь веточки берёз, и заамбарные репейники, и рубиновые кисти палисадниковых калин, и орешниковая изгородь с гирляндами дикого хмеля, и обвислые провода, даже крылечные лавочки и перила покрылись собольим мехом — богатым и роскошным инеем.

До самого позднего вечера хутор пребывал в царственном уборе, в дивной, ничем не опечаленной сказке, пока с приходом сумерек не прокрался на его улочки, не пополз вдоль самых дальних закоулков шепотной и неуёмный сиверко.

И закуролесило-о!

ЗАМАНИХА

Ягода садовая ли, лесная — лакомство знатное. А уж луговая клубника, у нас её кличут “заманиха”, и вовсе наипервейшая статья, и сказ о ней особый.

Как только вступает в последнюю пору земляника, когда даже в борных глущобинах смолкает бабье да девичье ауканье, сама собой хлопотная заготовочная пора перекатывается с подолов урочищ на покосные луговины, заброшенные, поросшие самосевным подлеском поля, обрызганные колокольчиковой просинью, истомлённые до изнеможения летним зноем склоны угорьев.

Каждый раз, прознав, что соседки давным-давно “обтаскались” заманихи, матушка всплёскивала руками: мол, ах ты, горюшко луковое, опять проморгали первый, самый густой обор.

Срочным порядком по вверенному ей хозяйству объявлялся переполох. Правду говорю, жизненная история. Переносились на другое время любые намеченные ранее дела. Сыскивался всяческий, подходящий для ягодного сбора посуд: от бидонов и вёдер до кузовков и лукошек.

Горячей охотницей до заманихи слыла когда-то ещё бабушка Наталья, отцова мать. Она-то и пристростила меня к этой деревенской забаве. Именно забаве, потому что сбор ягод, хоть и был он во все времена нелёгок — и спина-то потом аж два дня ноет, и руки-ноги ломит, — но всё равно делом занятие это никогда не считалось, скорее, прогулкой, отдыхом “на гулянках” от серьёзных каждодневных крестьянских забот. Но, как бы там ни было, следует сказать, пору эту всегда поджидали с нетерпением, “ягодное” удовольствие никогда не наскучивало.

Из года в год в конце июня — начале июля, ранней ранью, с восходом солнца, всем семейством снаряжались мы на целый день в Плоский лесок, в котором в самой середке, за расступившимися берёзовыми зарослями, открывалась продолговатая, версты на две-три, лощина, поросшая чабрецом да диким ягодником.

Жалобясь на “разбитые” ноги, постаревшая бабушка с нескрываемым сожалением и горькой завистью, сосупив кое-как с крыльца, выпроваживала нас за калитку. И, опершись на загородку, не скупилась, как человек бывалый, на всяческие наставления и советы, “отказывала” нам свои потаённые места. Мол, нынче, по всему видать, заманиха объявится ядрёной да спорёй по луговинам. Какой день жарень стоит несусветная, значит, и ягодка на пригорках никудышная: мелкота мелкотой, да и, скорее всего, испеклась. “Ну, вернуться вам с добрым добытком”, — крестила нас старушка вослед. И мы, оставляя на лопушистых подорожниках росную стёжку, устремлялись вверх вдоль Мишкиной горы, а затем и вовсе скрывались из виду, тонули в недозрелых иссиня-сизых ржах игинского поля.

Даже когда клубники урождаются “горы насыпные”, сбор её, особенно если тебе лет семь-восемь, где-нибудь часа через два-три начинает надоедать. Тут на выручку приходит бабулина предусмотрительность — самое время развязать собранный ею “вузелок”. Набулькаешь из бутылки молочка в синюю кружку, разрисованную роем золотистых пчёл, умнёшь, подкрепишься плюшкой, калачиком, потом сладишь на голову для прохлады из широченных листьев конского щавеля и почти совсем отцветшей, но всё ещё душистой медуницы “мировой” веноч, нахлобучишь на косынку, глядишь, и снова дело заспорится, даже песню, выученную от бабули, поневоле начнёшь под нос себе мурлыкать: “Ой, при лужке, лужке-е, лужке-е...”

Пока брали ягоду, отец, очень скоро терявший к ней интерес, а заодно и терпение, успевал обежать вдоль и поперёк весь Плоский лесок (берёзовы-ый!) и с превеликим удовольствием наломать полнёхоньку плетушку зелёных да розовых сыроежек, ярко-жёлтых лисичек. Сыщёт, бывало, без них уж вовсе не вернётся, хоть с пяток-другой крепеньких, один в один, белых.

Мало того, обезоруживая маму, “в оправдание своего побега с ягодного поля брани”, он притаскивал ей то перевитую травяным перевяслицем или длиннющими стеблями мышиного горошка охажку малиновых кипрейных султанчиков, то букетище крупных лесных ромашек.

“Умасленная” подношением, мама всё равно, улыбаясь, грозила ему в наказание: “Зимой варенье будешь есть из Таниной заманихи”, — прозрачно намекая на мою “зеленуху”.

Но отец за просто так и сам не сдавался, и прикрывал меня. “Так я ж приторного на дух не переношу. Куда вкуснее кисло-сладкое”, — подмаргивая мне, парировал он. И я, довольная и радостная, светилась от его поддержки. К тому же, как только мама скрывалась в травах, как по мановению волшебной палочки, откуда-то из-за пазухи его возникало с десяток пучков крупноношей, зрелой клубники. Отец лукаво щурил глаза, прикладывал палец к губам — мол, помалкивай, смотри, не проговоришься маме, — и, опуская свой добыток в мой бидон, прикрывал его закрудривистой бахромой тут же сорванных цветов бледно-розовой хохлатки. Возвращаясь домой, мы загадочно переглядывались и подмигивали друг дружке, сохраняя от мамы свой “душистый” секрет.

В мамином же ведёрке, можно даже не заглядывать, заманиха отборная, ягодка к ягодке, даже есть жалко, только любоваться да картины с неё писать. И как у родимой хватало терпения собирать только по одной, самой лучшей, с кустика?

А я вот подумалась: мол, чего тут церемониться, луговую можно сдёргивать с веточки сразу по несколько ягодинок, горсточкой. Честно сказать, зачастую среди спелой в бидон по недогляду попадала и белобокая, а порой и вовсе зелень зеленью.

Но бабуля старалась не замечать мою уловку, даже виду не показывала. Перебирая мой добыток, никогда, бывало, не пожурит. Видать, теплилась

в ней “надёжа” на то, что со временем “лень сама из меня выдурится”, и заманишка в моём бидоне станет куда ядрёней и спелей.

Мало ягодку взять, это дело хоть и не десятое, но и не самое наиглавнейшее, надо ещё, как говорила бабушка, “до ума довести”. Спелая заманиха — создание нежное, уважает заботливое с ней обращение. С ягодой время дорого, а иначе “поплывёт”, не удержат. И потому, наморишься, не наморишься, в тот же вечер до позднего поздна приходилось с ней тетешкаться, рассыпав на чистую тряпицу, “чтоб не сторелась”, прямо на крыльчонном полу.

Но ничего, обходились. Спать не укладывались до тех пор, покуда не распределялась каждая ягодка по ранжиру: переспелые, самые сочные, душистые да лакомые пересыпались сахарным песком в большущих блестящих медных макитрах для варенья. Из года в год в нашем погребе обитало множество банок, баночек и банчищ этого замечательного лакомства из луговой клубники. В зимние холода с блинами-оладьями, с топлёным молоком или травяными чаями уплеталась эта вкуснятина за любо-дорого.

За “заманишный день” ладошки становились красные-красные, такие же и губы, и язык. Ведь нет-нет, да и не устоишь, подкинешь в рот самую приглянувшуюся.

Той ягодке, что потвёрже, место определялось в морозилке. Вдруг да невтерпеж захочется наперекор крещенской стужице чего-то совсем летнего. Вот когда сгодится сохранившая свой яркий аромат луговая сладость заманиха.

Немалую часть ягоды оставляли для сушки. На следующий день, не мешкая, отец поутру, как отойдёт роса, взбирался по лестнице на покатую крышу амбара, рассыпал заманиху тонким слоем на застланную старым покрывалом железную крышу. За день, как на жаровне, ягода доходила до готовности, бери да ссылай в пошитые мамой на древней “зингерке” специально для всяческой сушки цветастые ситцевые мешочки.

За завтраком, зачерпнув из макитры пропитанные сахаром ягоды, заливали их в миске парным молоком.

С той поры прошло столько лет, что можно и со счёту сбиться, а вот вкус этого яства не спутать по сю пору ни с каким иным — вкус отрадного детства и семейного лада.

Ягодное пиршество на этом не заканчивалось. Весь длиннючий июльский день мама “мудрствовала” у плиты над вареньем, а я, чтобы отвести душу, вертелась около, дожидаясь, когда наконец-таки в тазах запенится, забулькает, когда, расхлюпавшись, примется “убегать” розоватые, дышащие Плоской ложиной, ярым солнцем, безудержной июльской радостью пышные, воздушные пенки.

И напрасно страдала меня бабуля: “Татьяна, остепенись, гляди, не нализись! Вот ей-Богу к завтраму на щеках заманиха вызреет!”

ФРОЛОВА РАКИТА

Правда ли, нет ли, только бабушка Наталья, отцова мать, сказывала — а как ей не поверить? — будто эту ракиту на середине Мишкиной горы, вблизи хуторского родника, посадил ещё году эдак в тридцать третьем мой дед Фрол. А коли так, значит, ей уже ни много ни мало — под сотню годочков!

А дело случилось так... Началось всё с того... Приехал в тот год дед мой с заработков, с Балхаштвоя, к Пасхе на побывку. И вздумалось ему, видно, кроме всего прочего, обустроить залившийся родничок. Почистил, углубил он его сердцевину, обложил невысоким дубовым срубом. А чтобы легче было подступиться к роднику в любую непогоду, нарубил он где-то ракитовых кольев и, оставив небольшой, чтобы можно было развернуться с коромыслом, вход, воткнул те черенки вплотную вокруг ключа. Как говорится,

в тесноте, да не в обиде, ракитник тот, конечно, у воды принялся мигом, зазеленел, заветвился. Но всё-то высадкам тем вольного духу недоставало, всё-то они застали своими кронами друг дружке Божий свет. Так и мыкались, бедные, длиннющие, тощие, год за годом.

А вот один из раковых кольшков дед то ли по случайности, перекуривая, воткнул на полгоре, то ли нарочно, с каким дальним умыслом. Не берусь сказать, как там было всё на самом деле.

Знаю только, что спустя годы вымахало у тропинки на спуске к роднику из того хлипенького череночка дерево в три обхвата. Жизнь не одного поколения хуторян просуетилась на виду у этой приметной ракитки.

Идёт мужик за водой, не преминет под ней остановиться. Свернёт не спеша сигарку или выбьет из пачки “беломорину”, оглядится, что, где да как. Не его ли табун пряником с омутка спровадился в Меркулихин сад? Не Витька ли, его сынок, дерёт на бахче у Колдучихи огуречные зелепупки?

Подымается на гору баба, сбросит с плеча плетушку, битком набитую переполосканным бельём, притулится в густой тени передохнуть, поостыть после жаркой колотьбы на омутке, тут же и пральник меж раковых веток в своём потайном местечке до следующей постирушки припрятать.

Для ребятни же под сенью этой ракитки вообще был двор родной. С перекинутыми через выгнутый сук ремёнными качелями, с вырытыми в глинистых боках Мишкиной горы ходами-лазами, с птичьими норками, в которых кому ж не хотелось нащупать пару-тройку дробненьких стрижиных яичек?

Куда бы кто ни собрался идти, сбор назначали у этой ракитки. Помнится, бывало, возвращаемся с бабушкой из Гороней или Закамней, переберёмся через Жёлтый пренепренно по камушкам, обустроимся в тенёчке, рассортируем грибы-цветы-ягоды, заодно и передохнём, и — на гору, до хаты.

Справа от древа — большой глинистый обрыв. Для всяческих хозяйских нужд по налаженному из пяти-шести сплочённых брёвен мосту, а то и запросто — вброд — приезжали к нему за глиной мужики из окрестных деревень. Пока работали, наполняя глиной забранную тёсом телегу, лошадки определяли опять же в тенёк под раскидистую раковую крону. Под ней, громадной, не страшны ни палящий зной, ни проливенный ливень. А наморившись, тут же рассаживались перекусить да передремнуть.

Оно, конечно, дело прошлое, но... Вот, поди ж ты, не забылось! Как запомнить-то? Считаю, всё детство моё волчком прокрутилось вокруг да около этой дедовой ракитки. Помнила она, думается мне, и мою юность, и первую, пронзительную любовь. Как дожидалась я впервые, как казалось мне тогда, по уши влюблённая парня из соседнего села, как до последних петухов не могли мы с ним распрощаться, как, закутавшись в пуховую шаль, выходила на росную гору покликать меня домой так и не научившаяся засыпать до моего возвращения мама.

До-олго служила хутору ракитка деда Фрола. Со временем сами по себе притопали в её тенёчек из лесу грибы-подтопольники, расположились не абы как, необорным табором. Опять деревенским прибиток.

Но у всего в этом мире есть начало и есть неминуемый конец. Деревья — не исключение, к тому же, ракитка — не такой долговител, как, к примеру, дуб. В гнилушку превратился её ствол, зимние ветродуи развалили её во все стороны на множество частей, до земли склонив ветви на взгорье.

“Ну вот, — проходя мимо, думали все, — подошёл смертный час Фроловой ракитке. Спасибочки ей, как не вспомнить родную добром?”

И решили мужики: как только пообсохнет подгорье, сгуртоваться миром и распилить порушенную ракитку: сучья — на дрова, а гнилушки — они тоже сгодятся — пчеловоды разберут их на пасеки для своих дымарей. Договориться-то договорились, да за хлопотами разговор тот закатился под стол и подзабылся.

Справили по Фроловой ракитке поминки, оплакали. Но ранней весной, помнится, ещё и не весь снег-то сошёл, ещё по оврагам да лощинам шумели ручьи, шла я как-то на родник. Слышу: что за диво? Гул какой-то стоит. Даже ведёрки с коромыслом скинула. Пригляделась, а разваленные в стороны раковые сучья не только озеленились, к моей великой радости —

зацвели! Видать, прижились, пустили корни молодые ракушковые сучки. От ракушки-матери народилась целая ракушковая роща. И спуют, спуют и радуются её цвету вездесущие пчѣлы!

НА СЕНОВАЛЕ

Белым наливом скатывается за Васютиным амбаром в седые лопухи переспелая луна. А где-то там, над ольховниками Коровьего болота, ей на смену уже вызревает, вот-вот раскроется — только не проморгай! — огненный бутон чудодивного золотистого цветка. Вѣдро. Не тянет ни дождѣм, ни сыростью.

В парном июльском ветерке ситцевая в голубенький огурчик занавеска чуть кольшется. Ушлый комаришка всё-таки сыскал лазейку, проскользнул к Митьке под полог, обустроенный мамкой ещё под Троицын день, и вот теперь, спозаранку, когда проявляются самые невероятные видения, самые желанные сны, этот неотвязный паршивец наинаглейшим образом докучает и докучает парнишке гнусавым зундением: “Ну, прям-таки утерпежу от крошавца нету”.

С бакши слышится равномерный хруст. Это дедушка, подобув на бурки галоши, бродит по росным грядкам, хрюпает, набивает для подсвинка Ерочки хоботную плетушку молодого, переполненного соком, ослизлого свекольника. Запах нечаянно растоптанного огуречника, смешанного с ядрѣным укропным духом, прокрадывается сквозь щѣлки сеновала, вползает в Митюшкины полусосыпавшиеся сны.

“Поспишь тут, как же!” — пыжится мальчишка, накрывает голову подушкой, пытается зацепиться хоть за краешек ускользящей ночи. Но опять незадача — изодранные вчера в бабки Зининых крыжовниках руки так чешутся, так чешутся — мочи нет. С вечера завернули с дружкой Тимкой справиться, не подошла ли на углу её захолустного сада “дулька”. Мальчишки сквозь этот сад, как сквозь свойский, зажмурясь, пройдут. Груша пока ещё каляна-а-я! А крыжовник — ничего, в самый раз, только потемну уж доже лих. И цыпки на пятках, будь они неладны, — чешутся заодно с зарапинами на пальцах. Хоть мажь их бабуля гусиным жиром, хоть не мажь, — Бог даст, может, хоть к Покрову отпадут.

— Хррр! Хррр! Хррр! — скрипит сарайная воротина.

— Вот так каждое утро! И какого рожна ей не спится? Сколько раз обещал себе накапать в петли машинного масла, да где тут! Опять забыл! Теперь вот слушай её песни на свою шею, — ерошит себе волосы, бубнит невыспавшийся Митька.

— Ммм! — Глафира обмахивается хвостом, не даѣтся доить.

— Ай ты нынче белены объелась? — доносятся до Митьки мамкины строгие-настрогие укоры, а потом ласковые-преласковые причитания. — Опять подойник наподдала, — жалобится она подошедшему Лукичу, своему мужу, Митькиному отчиму, — витинару, что ли, показать, может, с выям что приключилоя, вишь, как бѣтса?

Тянет Лукичовым “беломором”, слышно, как он, покашливая, спроваживается под сарайку сгатавливаться на сенокос.

Вообще-то мужик он ничего. И рыбалить Митьку научил, и велик с поллучки обещался.

— Как папка сгиб в Чечне, мамка совсем было разумом помutilась, — припомнилось Митьке, — кто знает, как бы сложилось дальше, если б не этот вдовый Лукич. Мамка в нём прям-таки души не чаёт... Да и меня он не забивает... Небось, сживѣмся!

— Вжик-повжик! Вжик-повжик!

— Ишь, дедкины пчѣлы расчепали под Кулигой — греча зацвела, и ну с неё, уже с неделю как, мимо сеновала таскать к себе в улыюшки взяток. К Сергову дню, глядишь, дедуня и медогонку из чулана выкатит.

Пчѣлы всё жукают и жукают. С полудрѣму Мите уж и не разобрать: то ли они, заботные, взад-вперѣд, носятся, то ли мурчит бабулина маслобойка.

— Динь-динь-тирли-динь! — бойко заплескалось из-под сарая — Лукич правит косы.

Ну, теперь уж точно рассыпался Митькин сон. Босый, на плече мятой тряпичей — клетчатая рубаха, он шнырко спускается с сеновала по шаткой лестнице на почти подсохшие подорожники двора. Чтобы окончательно очухаться от душной июльской ночи, из притулившейся у крыльца дождевой бочки Митя брызгает на ходу пару пригоршень утренней прохладцы на лицо, на голую грудь. И, взбодрясь, влетает в кухню.

Вернувшаяся из курятника бабуля — в подоле фартука с пяток яиц — жалобится ему на рябую курицу: мол, всё никак не угнездится “нескладёха”, в который раз подкладень раздавила. Отсерчав, старушка ставит перед внуком приберегавшуюся в сутреве, на загнетке, тарелку с ещё дымящимися блинами, пододвигает миску со сметаной и снова — прямоком к печке. Митя один румяньенький блямс в сметану и — скорее в рот. Остальные, с десяток, закатывает в трубочку, суёт тёпленькие за пазуху. Бабуля ещё настаивает — в плошке эвон сколько теста!

— Э-эх, кабы шапка-невидимка, пролизнул бы мимо бабули тихонечко! Парнишка чмокает старушку на бегу, пока та не одумалась, и исчезает за дверью, прежде чем услышать надоедлив (“для хороших мальчиков”) “молебн”.

— Обедать-то, юла, отышшысь, пирог твой любимый с карасями затеяла, а то избегался, всё веухомятку, кой на чём. Ишь ты, ужаленный! — выглядывает из растворённого окна бабулино смуглое с белесыми лучиками у краешков глаз лицо. Добрейшая старушка грозит внучонку блестящим от масла пальцем.

— Гоп-ля! — прихватив футбольный мячик, Митя спроваживает с горы к Филькину плёсу гомонливый табун уже подросших, оперившихся гусей. Верховодит ими здоровенный серый вожак, шишконосый Пугач, задира и буян, каких свет не выдывал. Всё норовит, эдакий расканалья, супротив Мити заартачиться.

Неслухи, оставив на полгоре своего хозяина, расперивают крылья, мягко планируют над поросшей анисами стёжкой, над куртинами фиолетовых шалфеев и золотистых болиголовов, будоража шёлковистую водную гладь, плавно оседают на жёлтый сыпучий песок плёса, на противоположный, левый, низменный берег.

Сверкнув белыми, один к одному, зубами, мальчишка улыбается бойки-ми, приветливыми глазами, футболит в подгорье мяч. И, как заправская птица, расставив в стороны руки-крылья, срывается следом, летит за своими подопечными.

Золотистое — аж глазам жарко! — солнышко, словно смазанная яичным желтком, поджаристая бабулина лепёшка, катится вдогонку за Митей.

Впереди большущий летний день.

ГНЕЗДИЛОВО

Кособокие, поседевшие, напряжённо заглядывают они чёрными, замогильными глазницами окон в самую душу редкого путника. Потерянно молчат.

И только ветер, так и не поверивший в их усышение, нет-нет да прибудитесь на знакомые подворья. Поскрипеть растерявшими зубья калитками, похлопать полусгнившими ставнями, погромохвать пустыми ведёрками, приструнить обжившееся на порушенных крышах вороньё.

Ни дымов над похерившимися печными трубами, ни огоньков в быстро надвигающихся сентябрьских сумерках. Лишь из поросших в человеческий рост собачником да крапивой, когда-то богатых “бабушкиной антоновкой” гнездиловских садов горько потягивает приторной прелью, укусной оскоминой перезрелой дички, завалившейся в поникшие от нечаянно-раннего заморозка чертополошины.

Из-под проваленных избяных половиц выползает сырой и зябкий дух, обволакивает плесенню уже прозеленившиеся стены, напрочь забывающиеся запахи масленичных блинов, вкус крещенского гусяного холодца, ароматы щей из кислой бочковой капусты или лугового щавеля.

И ветер скулит, скулит... Словно гложет голую кость изголодавшаяся псына. Да-а... Как у нас говорят: беда, которую не отшентать.

А ведь века обживали наши пращурьы эту землю: “гнездились”, выкорчевывая леса под пожни, поближе к воде, да чтоб рядышком, под боком, зверь водился, да чтоб грибы-ягоды родились. Сколько по России заложили деды наши деревень, окрестив их просто и понятно — “Гнездилово”? Не счесть.

А сколько осталось? По пальцам перечтёшь... Сплошной разор... По правде говоря, невесело русским глазам... Вот тот-то и оно!

И чем прогневали Господа? Не докричаться, не достучаться до небес... И ни души на десятки вёрст в округе...

Порушены отчие гнёзда, и что самое страшное — с земли нашей кровной стирается родовая память.

Деревушка Гнездилово стоит на двух пригорках, в низине меж которыми, протекая сразу из нескольких родников, скользит безымянный ручей. Бывало, по берегам его ярко-зелёная, будто новёхонький кусок миткалю, ширилась большая поскотина. Нынче же и ручья-то не разглядеть, и луговины не распознать. Лозняк да вербач, каких ещё белый свет не родил, наглухо заволокли подгорье, ни стёжки, ни тропиночки. С одной стороны заброшенной деревушки на другую задумаешь — не пройдёшь, не продерёшься.

И только в палисадах всё ещё не сдаются забвению до самых холодов мальвы-самосевки. Горят, полыхают негасимым ласковым светом, как, бывало, в добрые времена сияли прикрылечные фонари этой большой средне-русской деревни.

Огородов и бахчей теперь уж и вовек не сыскать. На их месте — дикое поле. На нём — лес лесом, как водится на всех пустырях, — осот да польнь, лебеда да татарник.

И что особо ранит человека, выросшего на широкой деревенской воле, что примечательно — ни одного голубя, ни одной ласточки, пройди хоть из конца в конец обе длинющие улицы, не обнаружишь. Только кракает, кракает, словно на погосте, перелётывая от усадьбы к усадьбе, прожорливое вороньё, то отрясая последние яблоки в задичалых садах, то роняя с рябин у накренившихся ворот перезрелые кисти.

А бывало-то!.. Не сыскать и двора в Гнездилово, где бы не держали голубятню. Да каких голубей!..

А ласточки... Что ж ласточки?.. Птички эти испокон веку с человеком в дружбе состояли и жильё своё к людскому жилью прилепливали. Всё, бывало, выются хлопотуны, носятся над омутком...

Видать, весело им было слушать, как залихватски колотят бабы пральниками на камушках расшитые васильками да колосьями рушники, как звенят в малинниках разливистыми колокольцами детские голоса, как, торопясь до дождя в лога за поспевшим сеном, тарарайкают по мозолистому просёлку одна за другой мужицкие подводы.

Не натянуты на подворьях верёвки, не полощется на них дышащее свежестью и влагой детское бельишко, обрезаны провода, порушились телеграфные столбы, измельчали малинники, перемололись в труху все стожки и копёшки у хозяйских амбаров.

На западе, за Сырым ложком, меркнут последние, скудные краски зари. И только на самом краю, на выезде из Гнездилово, мигает, ещё теплится над погасшей Кромой огонёк. Это Митрофаньч хватается за последнюю соломинку с родной крыши. Хоть обнищал, как говорится, ни иголки с ёлки, ни иконы помолиться, ни ножа, чем зарезаться, — а поди ж ты! — крутится, крутится всё ещё его подворье, будто какая не поддающаяся никаким напастям волшебная самопрялка. Ну, так безрогая корова и шишкой бодается.

“Уздун” вот свою керосинку, сумерничает... Для себя-то он давно всё обрешил, да хоть своими, хоть чужими глазами погляди, и обдумывать-то особо нечего... Гикни, птицей обернуться сноровись, и то отсюда не улетишь.

Вот и сейчас забрался старый на полати, клюёт носом, а всё балакает, балакает по сотовому с родной душой, с осевшим в Питере сыном.

— Зазря не переживай по мне, — перекатывает желваки старик, — не слухай, об чём я тут раскудахтался... картохи прибрал... свеклы цельный подпол. Опять же груздочков промылился, трёхведёрный бочонок в погреб закатил. Ай не еда?.. Ты к Пасхе-то на гнездо родимое прибудешь... Ай нет? Надо бы оградку на мамкиной могилке подсправить...

Храни тебя Господь, старик!

БУРАН

Ещё в начале сентября дед Нехай выпросил себе у лесничего в дальнем бору на топливо сухостоя. Думал, за бабье лето дело соспорится, но, видать, не тот уже стал дед. А бывало-то, торф на болоте копают, в одиночку выдёргивал из трясины захрястнувшую телегу вместе с конём.

Ну, так вот, проваландался старик с порубкой ни много ни мало до самого Покровá. Заготовил, конечно, изрядно, до травки с избытком хватит. Сложил брёвнышко к брёвнышку — Нехай ещё тот аккуратист! — а домой перевезти так и не успел — последнюю неделю, как назло, то ливанёт дождь со снегом, то обрушится снег с дождём. А в лесу, шутка ли дело, день-деньской под такой мокренью? И расхворался, распливился дед.

Провалился в лихорадке аж до ноябрьских. Ниловна его своими леченьями вконец измучила. Разотрёт, бывало, бараньим жиром, напоит липовым-мятным взваром, напялит овчинный тулуп да валенки, с печки все подстилки сдёрнет и закатит деда на жаровые кирпичи. Сама ж угнездится с вязаньем на телятнике и стережёт: ни за какие коврижки, хоть плачь Нехай, хоть ма-тоганься, пока не пропотеет, не выпустит.

Но сколько ж в безделье прохладжаться? Дед встал на ноги, как раз школьников на осенние каникулы распустили. А тут радость старикам нечаянная подвалила — привезла к ним дочка из города на пригляд (сама-то всё в работе) младшенького Ванечку, шестиклассника.

Пока дед чихал да кашлял, упали снега, без Нехая по первопутку уж и просёлок пообкатали. Погоды стояли задушевные — мягкие. Лёгонький морозец, солнечно, тихо.

— В санях бы прокатиться! — умасливал деда внук.

— Чего ж попусту коня-то гонять? Завтра за дровами в Калинов бор поеду, собирайся, коли не боишься замёрзнуть.

Дни выигрались такие ласковые, что даже Ниловна не отказала. Одела-обула внука, словно в экспедицию на Северный полюс. И провизии собрала корзинку под завяз — на Маланыну свадьбу. Так, знамо дело, на вольном духу есть ещё как хочется!

— А и то правда, поезжай с дедом, унучик, и ты развеисся, и деду весельше будет. Да я ему, бедолажному, теперь и самого себя не доверяю. Пригляди-ка там за им, Ванечка, чтоб не расхлебенивался. А то, жаркий, тулуп-то скинет и станет грузить враздёжку. Возись с ним потом до Роштва. Ай мне заняться больше нечем? — ласково ворчала старушка, провожая своих мужиков “в работы”, — да калинки, калинки, покуль дед управляться станет, поципи, милай. Тамотка её, в Калиновом-то бору, завсегда видимо-невидимо. Теперь её морозец попривал, вкуснюща-я-а! Пирогов вам завтра наварнакаю, киселю настряпаю.

Конечно, всё бы так и случилось: и улетал бы Ванюшка бабушкины румяные, с золотистой хрустящей корочкой пироги, и шлёпались бы в чашку,

выплёскиваясь из кубана вместе с киселём, кисло-сладкие ягодыны, если бы внезапно — и какой лихоманец её только принёс? — на обратном пути (дед с внуком уже и в лозняки Егорьевой лощины спустились) неожиданно-негаданно выкатилась из-за хутора Степного и поползла над заброшенным полем, цепляясь брюхом за молодой самосевный сосённик, огромная, в полнеба, снеговая тучица.

Белое чудовище кучилось, продвигалось своей могучей тушей на удивление стремительно, так что ни Нехай, ни Воронок уже, как бы они ни хотели, не осилили выскочить из-под неё в ускользящую спасительную полосу Божьего света.

Громадный снежный зверь метнулся в последнем прыжке к горизонту и проглотил вечернюю зарю, бившуюся изломанными окровавленными крылами где-то в чащобинах Дмитровского леса.

И ахнула кромешная ночь, и ударил со всей своей неистовой яростью беспросветный буран. Сорвались, озверело налетели, словно ненасытные цепные псы, чистопольные ветрици. Осатанели, рвали зубами раздольные воздуха, свирепели и визжали, в белой кипящей мгле вздымали до небес рыхлые неслезальные снега.

Продвинувшись версты две, не боле, сбившись с дороги, Воронок встал как вкопанный, захрапел, заупирался. Вглядывайся, не глядявайся — не рассмотреть ни малейших ориентиров — ни лесочка, ни кусточка. В диком, адовом котле небо смешалось с землёю. И спереди, и сзади, да куда ни кинься — кипела, клочкотала лихая круговерть. И не видать ей ни конца, ни края.

Нехай — человек бывалый. И не из таких передряг выбирался. Чего только не доводилось повидать ему в своей крестьянской жизни!? И сейчас он мужицким своим чутьём знал наверняка, что бы сделали и его дед, и отец, попав в таковскую переделку.

Закопав мальчишку в прихваченное на корм Воронку сено, дед спешил-ся и, чтобы не унесло его, сухопарого, на край света, обвязав себя вожжами, принялся скидывать накраяченные на сани брёвна. Дело спорилось: ломать, как известно, не строить. К тому же, буран с великим рвением пособлял Нехаю: подхватывал и пожирал, раскатывал дрова по непроглядной свирепой пустыне.

— Пожил — восьмой десяток разменял, — приговаривал дед, — а Ванюшку, конечно, жалко... У него, сердечного, вся жистюшка тока-тока налаживается.

Воронок отказывался тянуть даже пустые сани. Встречный ветер подсекал его и валил с ног, хлестал, словно кнутом, по морде, застёбывал бешеные, навывкате глаза.

Стыла кровь от вида рассвирепевшей зимней стихии, затмившей весь белый свет. Нехай, цепляясь за оглоблю, дотянулся, схватил коня под уздцы и, развернув его по ветру, потянул за собой. Сколько они так прорывались сквозь непреодолимую мятежную стену, а может, и вовсе — стояли на месте, и буран сам, своею могучей силой, носил их по раздолью, старик не ведал — потерялся во времени. Час ли прошёл, пять? Ночь ли ещё верховодила или разродилось непроглядное чудовищное утро?

Как же кляла себя Ниловна, что отпустила по зимнему пути за столько вёрст малюго внучонка!

За стенами гудел ураган. Не зажигая света, в отблесках лампадки бродила старушка из угла в угол, терзалась, не находя себе места.

— Да что ж я, разэтакая, натворила? Сгибли, сердешнай! Как же я ответ стану перед Ниночкой за унучика держать? Дак и деда жалко... Как не пожалеть? Почитай, полсотни годков бок о бок трёмся... Убить меня, старую дуру, мало!

Истерзав вдоль и поперёк свою душу, Ниловна то принималась голосить на всю хату, то падала перед Пресвятой на колени, неистово шептала:

Путь и истина сый, Христе, спутника Ангела Твоего рабом Твоим ныне, яко же Товии иногда, послѣ сохраняюща, и невредимых, к славе Твоей,

от всякого зла во всяком благополучии соблюдающая, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче. Аминь.

Хоть и не из робкого десятка был старый Нехай, а только и у него того гляди упало бы сердце, нет, не от холода, а от великого, всеразрушительного страха, если бы, наконец, Господь не смиловился над ним, а скорее всего, пожалел он безвинную душечку, внучонка его Ванюшку.

Куда их вынес страшный ураганище, Нехай сразу и не догадался, об этом он узнал только на другой день, а пока, уткнувшись в громадный омет, который даже такому бурану не достало сил разметать, дед несказанно обрадовался. С горем пополам завёл он в маломальское затишье Воронка. И из последнего духа, в разраставшемся с каждой минутой буране, принялся обустривать спасительную берлогу. А потом, затащив вовнутрь её полукоченелого Ванюшку, не отвязывая от пояса вожжей, завалил соломой лаз. Буря бесновалась и беспредельничала ещё очень долго.

К рассвету стихия заластилась-заластилась, будто нашкодившаяся псина, а потом и вовсе улеглась. Когда отогревшийся в стогу Нехай, накормив ожившего внука, выкарабкался наружу, ахнул: ни путей, ни дорог, сплошная белокипенная равнина — ни ям, ни оврагов, ни лощин.

— Ну что, внучок, — кивнул он выглянувшему на вольный дух Ванюшке, — не пора ли до хаты? Вишь ты, куда нас куролесища-то завинтила: вёрст десять влево забрали, хочешь — верь, хочешь — нет, аж на Мураевском поле, под Должонками очутились. Во-он, видишь, за лесочком думы столбами — Старо-Гнездилово. Подыдемся мимо него вверх вдоль Кромы, глядишь, к обеду и у себя. Ниловна-то наша теперь места себе не находит из-за нас, распропавших.

— Деда! А калину-то я сберёг! Корзинку в саях под соломой прикопал.

— Ай да молодчина! Значит, всё ж таки быть к завтраму пирогам!

АКУЛИНИН ЛУГ

Майский скудельный рассвет — тонкоросный и свежий. Аж дух занимает! По бокам луговой дороги, одетой зелёным ковром сочных трав, вспоминая, какие хорошие сны блудили меж них ночью, то там, то сям вздымаются душистые стога свежескошенного сена. А невдалеке, меж реденького березнячка, яркими цветами пестреют рубахи косарей — шаг — взмах, шаг — взмах, — и белеют косынки хуторянок, растряхивающих сено, — швырк граблями, швырк. Наверно, именно в таких местах и берут начало молочные реки.

Сложить копну, любой-каждый деревенский скажет, — дело нехитрое, яснее ясного. Важно, чтобы её не пролило в непогодь, хорошенько утрамбовать, особенно середину. Потом обойти со всех сторон, очесать, как следует, поплотнее подбить граблями и бока, и низ.

Пташки уже пробудились. Небеса проспавшиеся, гладенькие, как яичко, умытые, утёртые подолом посконного березняка. Ни тебе облачка, ни самого лёгкого пёрышка. А с вечера-то клубились, клубились по правому краю широченного Акулинина луга брюхатые тучи. Но, видать, ещё не время, ещё не выносили они долгожданный дождик, после которого, и гадать не надо, выродятся в Савином леске поплюшки да белые.

И сейчас там, где вчера собиралась гроза, на востоке, над вошедшими в силу травами в жаровом сиянии восходит огненный шар. Ещё не успевший обсохнуть луг под его низко стелящимися лучами кажется осыпанным дробными сверкающими самоцветами, камнями удивительной чистоты.

С выколосившихся диких злаков — с луговых овсяниц, кукушкиных слёзок, тимофеевок, — лишь коснётся их своим легчайшим дыханием утренний ветерок, просыплются, разбиваясь вдребезги, в мельчайшую драгоценную пыль мириады бриллиантов и сапфиров.

Луг этот удивительный в пойме ручья Жёлтого всегда славился своими цветами. Словно когда-то, в давние-давние времена обронула здесь на вечернем свидании красавица Акулина свою шелками расшитую нарядную шаль, да и не смогла потом в густоющем разнотравье, сколько ни пыталась, сыскать. Просеялись, проросли с той девичьей шали бутоны да соцветия на луговое раздолье.

И вот теперь не перестаёт оно радовать прохожих своей простой, но такой дивной роскошью. Спелыми ранетками закатились в травы бордовые шаррики клеверов. В низине, у ручья, дробной душистой крупочкой просыпались томно-жёлтые таволги да кремовые валериянники, а с ними рядышком раскачиваются на длинных тоношенных стебелёчках неказистые ятрышники, красно-коричневые вишенки кровохлёбок да зефирно-розовые раковые шейки.

Ближе ко взгорью, посуху, расперил свои колючие стебли колдовской цветок синеголовник. Там и тут порхают над луговиной нежно-голубые мотыльки — это дрожат в утренней рани крылатые лепестки цикория, Петрова батожка. И куда ни взгляни — море полыни. Дух от неё, настоящий на ароматах луговых цветов, распознаёшь даже во сне. Так пахнут луга и долины срединной России.

В травы — навзничь!

Повилики и зверобой, колокольчики и донники, мышинный горошек и луговая герань, кипрей и смолка... льнут к подолу луговины, словно малые дети к материнской юбке... А уж ромашек, ромашек! Великолепнее букета и представить себе невозможно.

Видно, покуда охватывает глаз: вызревает ясноликое утро. Солнце карбакается всё выше и выше, а за ним, ликуя, приветствуя и смакуя жизнь, замерев в сладкой истоме, благоухая каждой былинкой, тянется луговое разнотравье.

Над едва колеблющейся гладью Акулинина луга, где-то в раскатистом поднебесье, звенит, млея на солнышке, чуть видимый жаворонок. Как не воспеть ему это залитое солнцем и осыпанное цветами бескрайнее майское утро?! И вовсю уже наяривают кузнечики, и шныряют, пересвистываются меж корней перелётки, и влюбляются в горлицы и подмаренники корольки, и спуют по травам и былинкам божьи коровки.

Истинно бесценное сокровище, запрятанное вдали от гулкой стремнины большаков, Акулинин луг, заповедный уголок вблизи хутора Игинского, проснулся, чтобы встретить ещё один Божий день.

КИРОВСКАЯ ПОСКОНЬ

Ночи под Филипповки затяжные. И утерпежу не хватает дожидаться хоть самого малого, жиденького рассвета. Чтобы выйти во двор, поразмять отлежалые на печных кирпичях бока, подчистить с тропинок подваливший за ночь снег, нырнуть под гору за ключевой водицей, надёргать из поленницы топли, подышать берёзовым духом, хлынувшим из растворённой дверцы радостно гудящей грубки.

Привычные эти хлопоты объявятся вместе с зарёй, а сейчас, после вторых петухов, до них ещё эво-он сколько, чего только не успеешь передумать, переспоминать.

Вот выплыло нынче... Береглось же зачем-то в памяти?... Видать, для чего-нибудь... а может, для кого-нибудь сгодится... Память, она ведь неглупая, сама наверняка знает, что из людской жизни приберечь, а что смахнуть в небытие, будто сместь с дорожек опавшую, никчёмную листву.

Вроде бы обычный, ничем особо не выдающийся день, а вот отпечатались же в душе, чтобы проступить в свой, подоспевший из прошлого час...

Так вот, значит... Видится, как наяву. Схлынула последняя крестьянская страда: повязанные в плоты снопы вымачивавшейся полмесяца, всласть набрякшей в копонях — торфяных яминах — конопли вчера к вечерней

заре наконец-таки выволокли из мочила на берег, а потом встали на Ясный угор. Расставили “домбчку” высоченными суслонами, “бабками” — обсыхать, выбеливаться, вымораживаться.

Так и будут теперь стоять они — издалече видать! — словно древняя застава, на подступах к Кирову городищу. Деды помнят, как в злосчастном октябре сорок первого, когда немец прорвался через Кромы к нашему старинному (четвёртый век нашей эры!) селу, полыхнули первыми, словно крепостные стены, подожжённые врагом из огнёмётов несчётные снопы на окружавших селище со всех сторон конопляных полях.

Испокон веку славилась наша местность конопляниками, великолепным холстом — тонкой посконью, от нас поставляли её, да ещё несчётные тонны бунтов пеньки за границу державы Российской, о том свидетельствуют документы даже в музеях Англии. А дорожили этой тканью оттого, что в рубахах и портах из поскони в жару не перегреешься, в холод не замёрзнешь.

Притихли, задремали серебристые крестцы... Отдыхают, воспоминания о лете пересмаковывают. Здесь, на кировских полях, оно, прямо сказать, головокружительное, от запаха цветущей конопли, от гомона обжившейся в ней птичьей братии. Пробираешься чуть приметной стёжкой за какой-нибудь надобностью на соседский хутор сквозь высоченные, будто Ярочкин лес, осыпанные жёлтой пылью конопли, и чего только не повидится, не почувдётся от густого, дикого её духа.

Каких-никаких только баек не наврут о наших конопельнях: и блуд-то в их гушобинах водит — особенно в сумерках да по ночам, — и лешак-то в них хохочет, а то и вовсе — как примется щекотать! И дымы невесть какие золотистые, сладкие над “масленицей” — незрелой коноплей курятся, так опутают, заклубят, что и с торной стёжки, которую до самого малого поворотца наизусть помнил, напрочь событься. Сутки, а то и двое проблудишь, пока тебя миром не сыщут. Да... такие вот, сказывают, чудеса случались в нашенских конопляниках.

А я думаю: враки это всё. Разгадка-то — проще не сыскать! Берут, бывало, бабы день-деньской в поле замашки, пересытятся их забористым духом, что только не погрезится, что только в одурманенную зелёными метелями голову не полезет! Да к тому ж, известное дело, ещё и кучу малу присочинят, поди разберись потом, где правда, где кривда.

Но детвора эти страшилики особо в расчёт никогда и не брала. Чего ж кругалась за куманикой в лес ходить, когда сподручней напрямки, через конопли. Сикось-накось-поперёк шныряют вдоль полей тропки-стёжки. Свистит народец, переаукивается в вымахавших в огромный человеческий рост конопельниках, словно в каком глухом бору.

И только под вечер года, глубокой осенью, когда сгуртовавшиеся грачи чёрными яблоками рассядутся по деревьям, когда, наконец, утомон возьмёт непоседливую ягодную и грибную прорву, снизойдёт на опустошённые поля отдохновенная пора.

Уже с месяц, как потухли по краю поля последние, реденькие огоньки татарницы. И воцарилась над округой миткалевая, бесцветная, коңдовая тишь. В ней ленивой позёмкой расплзается меж темнеющих на взгорьях крестцов каляная стынь, сумеречная дремота. Теперь снопам самое время, опершись о припорошенный суглинок, приклонить друг к дружке головы, кемарить, подрёмывать в пролитом на округу посеребрённом подлунном покое, вдыхать приносимую ветрами из ближнего бора смолистую сосновую свежесть. Смотреть вослед проносющимся куда-то всё мимо и мимо странникам-пилигримам — этим заиндевелым невесомым шарам чудной травы перекати-поле. Слушать, как, словно скомканная бумага, шуршит, чиркая в позёмке по белесому насту, сметается в овраги пожухлая дубовая листва.

Промигнёт время, в свой черёд разбудят крестьяне “лежанку” — конопляные снопы на Ясном угоре, накрят их на сани, перевезут в село. Какой уж теперь сон? Разуют, разденут, очистят конопелюшку от кострицы, отобьют в ляске-мялке, оттреплют, примутся за гребёнки — чесать-волочить.

А дальше всё так: долгими зимними вечерами, под топот косолопых метелей, вынув из чулана прялку да приладив к ней куделно-замычку — пучок обработанной пеньки, — устанавливала бабушка Нюра посреди горницы станок и доводила до ума конопляное волокно — пряла, ткала, вязала. Загляни по ту пору в любую хату — увидишь такую же картину: неприях у нас отродясь не водилось.

В старых амбарных чувалах хранились валы — толстая, не первого сорта пряжа из очёсов пеньки. Обычно из неё ткали всегда необходимое на крестьянском подворье веретьё. Как обойтись мужику в хозяйстве без рядна, подстилок, всяческих попон? А уж мешкам и счёт никогда не вёлся. Да и кручники-возжовки, возовые пеньковые верёвки, всегда были на деревне в ходу.

Грубое же домотканое полотно — навои из “матёрки”, женской особи конопли — и на телегу, и на сани подостлать, да и при молотье первоуказнейшая вещь! А во времена наших прабабок из конопляных верёвок плели ещё и обувь — коты, бахилы, чирики. К тому же, в каждой избе ставили в моём детстве хлеба, а значит, нуждались и в “надёжнике” — плотной холщовине, которой укрывали квашню. А ещё — между венцами сруба, утепляя новую избу, тоже прокладывали пеньку — мшили.

Волокно же из “замашек” — мужской особи конопли с тонким стеблем — посконь — самое ценное, более холёное, нежное-пренежное, с серебристо-шёлковым отливом. Это вам не какая-нибудь грубятина — пестрядь или затрапез. Вообще-то бабу, которая ткала из замашек толстый, грубый холст — осьмуху, — не особо дотошную в ткацком деле, осуждали.

Обычно же из замашек выработывали тонкие набелки да “коломенку” — гладенькую пеньковую ткань. Заглянешь, бывало, на чердак, а там для просушки рядами да косами свешивается из-под крыши замашное волокно — ласковое, словно девичьи волосы, сполоснутые после бани мытным квасом.

Любили у нас на гулянках и семечки-конопельки пощёлкать. Рассыплют тонким слоем на печной лежанке, прожарится конопелинка, станет сладкой, душистой, ну, ни за что от неё не отвяжаться! Наберёшь полный карман, идёшь вдоль села, тому — горсточку, тому — щепотку. А коли закончатся — и тебя найдётся, кому угостить.

А то вот ещё: подадут на стол засочу, приправу такую из конопляного семени к щам, так из-за этой вкуснотищи за уши от миски не оттянешь. Откромсаешь от бабулиной краюхи добрый ломоть, маслицем конопляным сдобришь, поверх — засочи не пожалеешь, санки подхватишь, и — на Мишкину гору!

Кроме того, обычно к Покрову выпекались в каждой избе у нас луковые лепёшки из конопельных ядрышек. В хозяйстве мужицком всё идёт в ход, а потому отходы-масенки тоже не пропадали, скармливались скоту.

Застала я и время, когда старушке в последний путь повязывали заготовленный ею заранее в “смертное” круглик — белый холщовый платок.

Чтобы суровье отбелилось на славу, приходилось с ним повозиться. В печи ли, на костре нажигали осиновой, в крайнем случае, вербойной золы. В огромных чугунах парили с нею холсты. А потом их для отбеливания расстилали на лугах до вечерней зари — збрили.

Занесут, бывало, набелки в хату, а они, кипенные, долго-онько ещё пахнут древесиной, снегом, чистотой. Просушат, скатают потуже да упрячут добро — холстины да убрusy — на дно огромных сундуков.

Вот такая “сермяжная правда” помнится мне о нашей драгоценной кировской конопле. Кстати, “сермяжная” в буквальном смысле означает “правда конопляной ткани”.

А как не стало бабушки Нюши, как ушла в мир иной мама, так достался мне по наследству большущий сундук. Долго я не могла к нему подступиться. Но когда наконец-таки скрепилась духом, раскрыла, то ахнула! Столько в нём оказалось удивительных вещей, дорогих не только моему сердцу, но и всем женщинам моего рода. Тут и прапрабабкина кика, и прабабкина панёва, а ещё — бабушкой сработанные холщовые скатерти, подзоры, занавески да ружники.

Удивительны расшитые свастиками рукава и подола рубах! Из века в век переснимались старинные узоры, сберегая, неся потомкам сакральность древнерусских символов. А вот колосьями, васильками да ромашками украшали рушники да салфетки уже позже, в мамино время. Она, к примеру, взяла в замужество около пятидесяти холщовых полотенец, вышитых своими руками.

Долгое время хранилось у меня с дюжину аршин тончайшей, добротной выбеленной поскони. И вдруг пришла мне мысль: мол, что ж она неприка-янною лежит? А не достать ли из дальнего угла мамину машинку, а не свостожить ли себе из заветного добра сарафан? Холстины бабулиной много, ещё и моей дочери на память останется.

И сладла я себе наряд. По подолу яркой гладью расшила нашу Аринкину луговину, дробным густоцветом выкрестила по ней таволги да колокольцы. Запахло от обновы июньской росой, свежими покосами, переспелой луговой клубникой. А грудь, да и всё остальное поле, расшила-разубрала я берёзовой листвой да маковым цветом. Ими, бывало, украшала матушка перед Троицей нашу горницу.

Сарафану тому уже несколько лет. Но он всё ещё как новенький, потому что надеваю его по особым случаям.

В прошлом году полетела я в чужедальнюю Италию, давно мечталось посмотреть на иные нравы и обычаи, узнать, как там, в мире фикусов и пальм, где вместо наших берёзовых — роци оливковые, где вместо лохматого крыжовника у поросшего крапивой отцовского плетня — бесконечные виноградники, а вместо обмелевшей не на шутку Кромы — лазурный морской простор...

Лежать на песочке — не в моих правилах. Привычка, знато дело, — вторая натура! Эскурсии, музеи, выставки... Июль, жара страшная, только в сарафан и рядиться. И вот что удивительное ощущала я каждый раз — ей-богу, не вру! — когда надевала сарафан из старой бабушкиной поскони в этой заморской стране. Бродила ли я по развалинам древней Помпеи, проплывала ли в гондоле узенькими улочками-каналами Венеции, фотографировала ли пышно цветущие олеандры вблизи величественного Колизея, лишь нечаянно упадёт мой взгляд на подол сарафана, затмеваются, исчезают, испаряются все экзотические ароматы.

Зато я сквозь великие вёрсты почую вдруг, как потянет из кировских лугов тонким запахом вошедшего в цвет иван-чая; увижу, как к ручью Жёлтому вперевалочку, верёвочкой, спускаются с Мишкиной горы шебутные тётки Нинилины утки; услышу, как оглашенно пищат в крохотном лепном гнездышке над резным отцовским окошком вечно голодные подростки-ласточата; вдохну вместе с проголодавшимся дедом Тихоном, что возит в сельпо из района на Зорюхе хлеб, аромат свежей чернушки; подивлюсь ребячьим лукошкам, под завяз переполненным белощёкой земляникой.

И перестанет манить этот так и не познанный мною мир, и потянет домой, в поросший донниками Акулинин луг, на осыпанные дремотными купавами берега нашей маловодной, неказистой Кромы.

ХОРОШО-О!

Льняной, ласковый до истомы вечер. Самая пора закруглиться бы с дневными хлопотами. Всё равно на крестьянском подворье их бесконечная вереница. Но сидеть за просто так, о том о сём — ни о чём калякая, на лавочке у ворот — дело для меня великотрудное, скажем, даже непосильное. И потому отправляюсь в чулан, прихватив пару вёдер, нанизываю их на коромысло, обустройстваю на плече.

Родник у нас под Мишкиной горой, в самой низине. Спуститься к нему можно пологой, выбранной в земле и обнесённой дубовыми кругляшами лестницей. Сладил её пару лет назад дядька Николай, муж моей тётки Нинилы. По крутояру ему, а тем более, тётке с полными ведёрками не подняться, вот он и исхитрился, обустроил пологий спуск.

Можно, конечно, сбегать на ключ и по этой, обросшей диким сливняком стёжке, но лично я не испытываю, проходя в стеной стоящих зарослях, ни малейшего удовольствия.

Другое дело — выйти на гору, на самое крутолобье. Вниз и смотреть страшно, зато какая красотища открывается — дух захватывает. Хоть в какую сторону взгляни, на дальние-предальные вёрсты — всё как на ладони видеть. И пока ещё имеется “порох в пороховнице”, ни за какие коврижки не променять мне этот обрывистый спуск, где и правду можно голову свернуть, на степенную “пенсионную” лесенку.

Не было ещё и дня, чтобы я, отправляясь на ключ, не задержалась бы на этом верхотурье, не присела бы, сбросив в анисы коромысло и ведёрки, хоть на пару минут.

Сердце замирает — какая ширь! И в предвечерних далях уже мигают, мигают, словно роятся светлячки, огоньки окрестных деревень. Вон через Облогу, на левом берегу Кромы у песчаного, покрытого мелкой галькой приплёска — Гавриловка. А там, западнее и чуть подальше — Выдумка. Обернёшься — через речку от крохотного посёлка Степь всего несколькими огоньками подмаргивает Старо-Гнездилово.

Отсюда, с горы, кажутся роднее и куда ближе — рукой подать! — умытые лазурью небеса. Простор земной, простор небесный и я... Сижусь тут на крутояре, обхватив колени руками, обо всё на свете позабыла. Слушаю, как внизу пожуркивает, омывая валунки да камушки, парной, в песочных рыжиках Жёлтый; как суетятся, обустроиваясь на ночлег в своих глинистых норках, ласточки-береговушки.

Отрадно!.. В низинном краю, где-то у Чичинёвой хаты, то нежно мурлычет, то балагурит баян. Наверно, Мишка в клуб наострился. И когда его только какая-нибудь деваха окрутит?

А вечер ниже, а синева гуще... Пора и на ключ, а то и впрямь потемну назад не взберусь.

Обратно — это тебе не вниз налегке да кóтушкой. Но в ведёрках — не в тягость — в одном серебрится молодой, а из другого, наполненного вейлень, выплёскивается звёздная россыпь.

И глаза, знаю себя, светятся нежностью, и на душе — светлее светлого: “Боженька щедрый! Спасибо Тебе за этот вечер, за эту поднебесную гору, за радость видеть и ощущать Твой непередаваемо чудный мир!”

Ушла и забыла попрощаться с Мишкиной горой. Не простилась, у нас говорят, значит, обязательно вернусь, встретимся!

ПАВОДОК

Поди, всякий знает о том, что даже жареная картошка в каждом доме со своим вкусом. А уж коли дело касается кухонных разносолов или там ещё чего подобного, так тут у хозяек наприпрятано, насобрано столько рецептов, что только диву даёшься.

Вот к примеру, у тётки Катерины, что живёт в Заречье, с краю, во второй от обрыва хате, крашенки на Пасху всегда такие чудные, что во всей деревне других подобных вовек не сыскать. И куполочки-то на их бочках горят, и жар-птицы-то на них сияют, и цветики-розаны распускаются.

Тётка Катерина, бабы Ньюшина кума, ещё на Рождество, когда мы с бабушкой ходили её, болящую, проведать с пирогами да с гусиной печёнкой, побжилась, что, коли не дозволит ей Заступница помереть “от ломоты в поянике”, обучит и меня своей “рукодели”.

Теребила я бабулю, теребила, зазывала в Заречье. И подлаживалась, и хныкала, а у неё всё отговорки да отговорки: и Лыска того гляди растелится, и прялка разладилась, надо к деду Кузьме на справку снести. И так день за днём: хлопот-то у неё — куча мала.

Уж и Прощёный день справили. Пасха на носу, а бабушке Нюше всё недосуг да недосуг. Тут у меня и вовсе терпение лопнуло, раскапризничалась не на шутку.

— Не стану, — отбрила, — с тобой, бабулечка, хоть убей, клубки мотать, не подставлю под пряжку руки, пусть тебе их кто хочет держит.

Баба Нюра худого слова не сказала, но тут уж смекнула, конечно, — раз я рассерчала, упёрлась напроць, значит, вконец на неё разобиделась. А это ей вовсе ни к чему. Кто ж бабе Нюше письма из армии от сына Николая, моего дяди, читать станет? Кто в непогодь на печке ей страшные сказки станет сказывать? А летом Лыске на стойле на ухо ласковые песни кто пропоёт, чтобы она не брыкалась, пока бабуля ведёрко по рубчик нацыркает?

Одним словом, сговорились мы с ней так: после обеда в Чистый четверг, как вернёмся из бани, отправимся чин чином к бабулиной куме Катерине. До вечера управимся — Заречье-то рукой подать! Прихватим свои, приготовленные к празднику яйца. Прямо на них и станем обучаться выкраске.

Уж и яйца на сено в корзинку выложили, и творожок-сметанку — гостинчик тётке Катерине — стоговили: корову-то она годов пять, как свела, с той поры, как дядьки Михаила не стало.

Но не суждено было сбыться моей задумке. Ещё и позавтракать не успели, — только успела первый оладушек, только наладилась облизать перепачканные земляничным вареньем пальцы, — распахивается дверь, просовывается толстогубая физиономия, и дружок мой, соседский Лёнька, прямо с порога: “Сидите тут, чай гоняете! Быдто и не знаете — Крома пошла!”

По первости-то захотелось было надуть губы сразу на всех: на бабулю — за то, что протянула время, на Лёньку — за плохую весть, за то, что спутал наши с бабушкой карты, а заодно и на речку — подождать, что ли, не могла? Как теперь к тётке Катерине перебраться? Но всё же любопытство взяло своё: водополица на нашей Кроне ведь раз в году случается, как не сбегать, не посмотреть. К тому же, провинившаяся бабушка сейчас и отказать-то не сможет, потому как нынче на моей улице праздник и все тузы — в моём рукаве.

Пока я наскоро зашивала плюшки топлёным молоком, смотрю: бабуля уж и сапоги резиновые несёт, а с ними носки-вязанки, приговаривает: “Да гляди у меня! В воду-то не лезь, а то знаю я этого Лёньчика, сманит! В прошлом годе испунился, сётан, накатался на льдинах — месяц потом с печки не слезал, бухал на всю деревню так, что собаки с горы выли”.

Подобулась потеплее, пододелась — ветра́-то в начале апреля ещё ой какие шалые! — и следом за Лёнькой наострилась на другой конец деревни.

Спустились мы по раздрызганной ручьями улице вниз, до Стёпиной хаты, а дальше, куда ни кинься сквозь кружевное сплетение ольховника, сквозь дебри краснотала, — море разливанное, до краёв захлебнувшееся снегами и талой водой. Пустынно, свежо, пряный запах мокрых веток, задорный шум молодого ветра.

За ночь речка, в которую со всех пригорков окрест ползли, бежали, мчались и неслись ручьи, ручейчки и ручьища, взяла своё: не только вскрылась, а под тёплыми дождями, что вторую неделю без перебоя то накрапывали, то хлестали во всю ивановскую, пошла, родимая, себе гулять вдоль поймы, раскатилась от угора до угора. О тётке Катерине теперь надо позабыть, покуда Крома не войдёт в своё русло, а там ещё, как пить дать, и мост заново ладить придётся.

Мальчишка, чтобы подальше видеть, кошкой вскарабкался на самую высоченную ракетку, от воды подальше. Небось, Лёнькина мамка, тётка Шура, сразу отсекала — пригрозила на этот раз выдрать, коли увидит его у водива.

Пробегав за своим закадычным другом хвостиком несколько лет, и я выучилась лазать по деревьям — ребятишки ведь как воробьи, — а ещё ловить головастики, стрелять из рогатки по воробьям, кидать по воде камушки, да много ещё чему мальчишьему обучилась я в его компании. На самую

макушку лезть, правда, девчонке боязновато. Да мне и с середины далеко-о-нько видать.

Меж грязных, непросохлых взгорьев, меж оброровевшихся, будто при-вставших на цыпочки стволов сиротливых берёз широченной сине-зелёной полосой в сторону Кром шли большущие крыги, то еле двигались, то неслись как угорелые. Вместе с этими льдинами мимо недвижных хуторских улиц проплывали обломки прибрежных коряг, несённые где-то у Выдумки тесовые мостки, даже чьи-то навьюченные соломой сани.

На самой середине виднелся то ли ребячий плот, то ли амбарная ворота. На ней, уже перестав мыкаться от одного края к другому, охрипло рыдала рьяная коза. И как она только там, несчастная, очутилась?

— Эх, если б не мамынька! — вздохнул вслед уплывающей бедолаге Лёнька. — Это ж надо додуматься! Сказала, будет за мной следить с крыльца в папкин охотничий бинокль.

К кромке воды собирались толпами хуторяне. Разглядывали половодье, слушали гомонливый табор грачей в прозеленённых, торчащих посередь воды осокорях, радовались редким перекрикам диких гусей, возвращавшихся на родные гнездовья над высокой водой, над укрытыми золотистыми шалями вербачами.

Так просидели мы с Лёнькой на раките в освистывающем половодье ветре ещё часа три, пока под пальтишки не стала пробираться раннеапрельская прохлада. Низкие серые тучи, насупив оловянное небо, текли простором, рассеивая дожди, ходуном ходили над нашей местностью. А лёд всё шёл и шёл огромными неделимыми глыбами.

— Давай-ка по хатам, а то простынешь ты, а влетит от твоей бабы Ньюши мне, — предложил Лёнька и нахлобучил картуз на соломенные волосы до рыжих бровей. Сам, видать, застыл. Дрожит, будто кур воровал, носом хлюпает.

Спрыгнув в пожухлую прошлогоднюю листву, он “словил” с раKITки меня, и мы совсем было засобирались домой, как вдруг началась свистопляска! С Кромы послышался скрежет и треск — ломались большущие льдины, крошились в мелкое крошево; налетали, как сумасшедшие, одна на другую; становились на дыбки, перекувыркивались; их захлёстывала вода, а они снова вылезали, уже из-под соседней глыбины; тут же с великим хрястом на них снова и снова обрушивались громадные льдищи. И так они словно вели меж собой какое-то сражение, скрежетали, страшно урчали и ухали от боли, стояли от тяжести, кололи и крушили друг дружку; рассыпаясь на дробные осколки, занывали охолонуться на глубину.

Вспомнилась разнесчастная коза, и сердце моё заныло: стинула, должно быть, бедняжка. Даже умеющему плавать из такого месива не выкарабкаться вовек.

От мыслей этих печальных расхотелось смотреть на дикое “море разливанное”, и мы поползли вверх по раскиселившейся горе. Пора, бабуля теперь изгудится, загонит до вечера “прожариваться” на печку.

Ещё от калитки почуялся густой луковый дух. Баба Ньюша готовилась к Пасхе. И, как потом оказалось, не как-нибудь, через пень-колоду, а основательно. “Так-так, — смекнула я, — то ли опять ей недосуг, то ли всё ещё чувствует смущение, что не попали мы к тётке Катерине”. Завидев меня, она не стала сердчать, только всплеснула пропахшими ванилью и сдобой руками: “Господи Сусе! Татьяна! Ну, куды ж ты запропастилася? Душа моя, чай, праздник у ворот! Обедай поскорейча, да не сиди, как статуя, подключайся”.

Крашенки получились на удивление нарядные, как никогда. Бабуля расстаралась, в грязь лицом не ударила. Перво-наперво, натомила с полсотни яиц в луковой шелухе — это уж как водится. Потом вынула из шкатулки пёстрые порошки, те, которыми обычно красила овечью шерсть. Так и мало! Ещё и травушек оттопила: и зверобоя, и чабреца, да и просто лугового сена. Выложили мы это чудо на тарелки, расставили по подоконникам, пускай соседи, проходя мимо наших окон, дивятся: “Ну и выдумщики же баба Ньюша с внучкой!”